

неожиданной выносливости щуплого поручика, тот «спокойно», со своей «всегдашной усмешкой», ответил: «Разница культур. У тебя тело подавляет дух, а у меня дух владеет телом»; «набить животы и карманы» — такой видится ему нынешняя цель человеческой мысли, и «правда» большевиков нацелена-де к тому же: «живую человеческую душу ордером и пайком заменить»; приключение же с Марюткой на необитаемом острове, наглядно доказавшее ему, с одной стороны, неспособность современного Робинзона и попросту выжить-то без «телесной» помощи «дикарей», а с другой стороны — неспособность и нежелание современного Пятницы принять веру и нравственные идеалы «белого господина» даже на началах вроде б товарищеских, — это приключение окончательно приводит его, через искус отшельничества, к сознанию полной своей принадлежности к тому старому, прежнему миропорядку, который и призван-де отстаивать духовную цивилизацию от губительного нашествия варваров: «Если мы за книги теперь сядем, а вам землю оставим в полное владение, вы на ней такого натворите, что пять поколений кровавыми слезами выть будут».

«Мы» и «вы» отчетливо встали перед необыкновенно синими глазами поручика: скажем, лермонтовское «Белеет парус одинокой» и Марюткино:

Как казаки наступали,  
Царской свиты палачи,  
Мы встренули их пулями,  
Красноармейцы молодцы.

Но сегодня и впрямь удивительно, насколько представление поручика о культуре, на которой вроде бы воспитан, к которой вроде бы всей душой тяготеет и которую отважно берется защищать, — насколько это представление его противно не только Марютке, но вместе и подлинному содержанию, сути самой этой культуры, ее воистину живой душе!

«Разве сейчас время для стихов?» — искренне недоумевает он.

«Была когда-то у меня человеческая, хорошая жизнь, — рассказывает. — [...] Был я студентом, филологию изучал, жил милыми моими, любимыми верными

книгами. Много книг у меня было. Три стенки в комнате доверху в книгах. Бывало, вечером за окном туман петербургский сырой лапой хватает людей и разжевывает, а в комнате печь жарко натоплена, лампа под синим абажуром. Сядешь в кресло с книгой, и так себя почувствуешь, как вот сейчас, без всяких забот. Душа цветет, слышно даже, как цветы шелестят. Как миндаль весной, понимаешь?»

«Повоевал, — признается, — и увидел, что нет родины, что родина такая же пустошь, как и революция. Обе кровушку любят. [...] И вспомнил настоящую, единственную человеческую родину — мысль. Книги вспомнил, хочу к ним уйти и зарыться, прощения у них выпросить, с ними жить, а человечеству за родину его, за революцию, за гноище чертово — в харю наплевать».

«[...] Сяду за книги, — мечтает, — и все к черту. Тихая жизнь, покой. Не хочу я больше правды — покоя хочу».

Не то чтобы трех книжных стенок, и трех-то книг кряду, верно, не имела у себя Марютка; и от филологии далека — дальше уж некуда; и, конечно, не может сказать о себе так вот уверенно и просто, как поручик: «Я в стихах понимаю». Это очевидно и неоспоримо. Но столь же очевидно, что ее Марюткино, естественное не по н и м а н и е того, почему это сейчас не время для стихов, как раз ведь сродни тому чувству, которое и двигало от веку резцом, пером, кистью истинных создателей человеческой культуры.

«— Чудак — поглядеть на тебя! По-твоему, стихи в пуховике писать надо? А ежели душа у меня кипит? Если вот мечтаю [...] все выложить, чтоб у людей в грудях сперло. Я всю кровь в их вкладаю. [...] Плачет у меня все нутро, когда обсказываю про это. [...] Заели они мою жизнь, стихи эти самые».

Оказывается, понимающий в стихах Говоруха-Отрок не понимает в них самого главного — того, без чего их не было, нет и быть не может; и уже по одному по этому видно, что все его хлесткие суждения о духовности — лишь фраза, выморочная, пустая, безжизненная фраза! И крайне притом жестокая, бесчеловечная: вот ведь, поди ж ты, «за окном туман петербургский сырой лапой хватает людей и разжевывает» — и это

лишь необходимая составная часть уютного «филологического» интерьера, четвертая его стена, за которой «душа цветет, [...] как миндаль весной»...

Недаром поручик миндальничает недолго:

«— Сам вижу, что рано мне еще думать о возврате к книгам. Нет, пожить еще нужно, поскрипеть зубами, покусаться по-волчьи, чтоб кругом клыки чуяли!»

Тоже ведь культура...

Словом, зря мечтает поручик о «возврате» к книгам — ему еще надо к ним идти и идти. Невозможно предположить отсутствие в его домашней библиотеке Пушкина, Гоголя, Некрасова, Достоевского, Блока, наконец... Как же читал он эти «петербургские» книги? (А наверняка ведь читал!) Как не понял, не воспринял главного, живой души их — обращенности к тому, что происходит «за окном» в «тумане петербургском», к правде?.. Далека от подлинной культуры Марютка; не ближе и Мария Петриченко, хоть уже и «нахваталась», и Трофим Великанов, хоть и против «невежества»... Но Говоруха-Отрок не был к культуре ни ближе, ни дальше, чем они, был попросту вне культуры, как это ни парадоксально, и вот оказался — он, а не они! — в положении злобного, ожесточенного ее противника. Такова логика живой жизни.

Что стало, на мой взгляд, воистину удачей поставленного П. Штейном спектакля театра им. Моссовета по рассказу Б. Лавренева, так это исполнение Г. Борниковым в роли Говорухи-Отрока хрестоматийного лермонтовского «Паруса» — штрих, лишь в намеке подсказанный инсценируемым автором, домысленный театром, но очень верно и наглядно отвечающий самому нерву «культурологической» проблематики «Сорок первого»; жаль, что штрих этот оказался в спектакле по существу единственным и самим по себе, точно концертный номер.

Сперва стихотворение прозвучало в устах Говорухи-Отрока так, словно и впрямь хрестоматия раскрылась перед ошеломленной Марюткой. Нет, актер при этом не просто, как это называется на театральном языке, «докладывал текст»; напротив, он декламировал горячо, даже восторженно. Но при этом не было в его тоне ни малейшего оттенка того чувства, какое выразилось

в стихотворении горестным «увы», никакой юношеской горечи одиночества, непонимания, бездорожья и неясности целей, никакого, словом, ощущения трагичности противоречий бытия, — один лишь слепящий свет вольности; лазурь и золото, и красота далекой, почти у горизонта, картины, и завораживающая красота мерно звучащего стиха... Это был Лермонтов слово в слово; но это не был Лермонтов, за год до того потерпевший крушение любви, потрясенный смертью отца, покинувший Московский университет, Лермонтов на пороге юнкерской школы в Петербурге, Лермонтов, подхвативший в «Парусе» строку ссыльного Александра Бестужева... Это был декламирующий хрестоматийное стихотворение Лермонтова поручик Говоруха-Отрок в том редком счастливом состоянии, когда словно бы возвращаешься душой в невозвратимое детство, и вроде никакой не поручик, а гимназист-приготовишка Вадим хвастается перед юной тоненькой рыбачкой новообретенным несметным своим богатством, и рассыпает его перед нею, поощряемый ее бескорыстным восхищением, и сам восхищен щедрым его сиянием и сиятельной своей щедростью... «Белеет парус одинокой»... Красиво.

Но Вадим Говоруха-Отрок — не гимназист и даже не студент. «Прожил двадцать семь лет и вижу, что на самом деле вовсе еще не жил, — исповедуется он. — Денег истратил кучу, метался по всем странам в поисках какого-то идеала, а под сердцем все сосала смертная тоска от пустоты, от неудовлетворенности». Оказывается, на острове с Марюткой, «на этом дурацком песчаном блине, посреди дурацкого моря», он провел «самые наполненные дни» — «такие дни, когда не чувствуешь себя враждебно противопоставленным всему миру, какой-то отделенной для самостоятельной борьбы частицей, а совершенно растворяешься в этой вот, — он широко обвел рукой, — земной массе. Чувствую сейчас, что слился с ней нераздельно». В этом самочувствии снова и вспоминал поручик в театре лермонтовский «Парус». На этот раз — чтобы отвергнуть, с недоумением и иронией, слово за словом, от начала и до конца. «Ищет», «кинул», «счастье», «буря»... Какой же несусветной чепухой представилось ему вдруг все это в блаженные мгновения полной беззаботности, когда «кажется: хо-

рошо б никуда не уходить с этого нелепого горячего песка, остаться здесь навсегда, плавиться под мохнатым солнцем, жить зверюгой радостной». «Белеет парус одинокой»... Смешно и глупо.

И в третий раз — уже в точности по тексту рассказа — сорвутся с уст поручика лермонтовские строки, при виде появившегося на горизонте реального паруса обратившись в плясовые возгласы, в вопли радости освобождения из золотого и лазурного плена:

Бе-ле-ет па-рус о-ди-но-кий  
В ту-ма-не моря го-лу-бом-бом-бом...  
Бим-бом. Бом-бом.  
Голу-бом! 1

Таков Лермонтов гвардии поручика Говорухи-Отрока. Лермонтов, блистающий хрестоматийным глянцем; Лермонтов — смешной и глупый юнец романтик; Лермонтов-междометие. Дивно ли теперь, что в сцене из финальной главы рассказа — главы, «в которой поручик Говоруха-Отрок слышит грохот погибающей планеты», — под тем парусом белым вдруг явственно различил он наконец вполне реальный черный корпус бота со своими, и Марютка увидела: «На плечах человека, сидевшего у румпеля, золотом блестяли полоски»...

Да, «культура против культуры». В этой итоговой, как казалось поручику, формуле рассказ Б. Лавренева позволяет, однако, разглядеть ее действительное содержание, не мистифицированное (в плане, например, противопоставления «духовного» и «телесного», «души» и «пайка»), не извращенное во имя эгоистических интересов эксплуататорского меньшинства. Обнаруживается перспектива наличных в данный момент процессов и конфликтов в области культуры. И в перспективе этой выясняется, в частности, фальшь и историческая обреченность позиций якобы лишь реставраторских, нацеленных будто бы только на глухую защиту достижений «прошлого», на защиту «старой» культуры от «нового» варварства: эта «защита» оборачивается выхолащиванием сути и пафоса «старой» культуры, попыткой закупорить, законсервировать ее в «прошлом», лишить живой жизни в настоящем и бу-

дущем, а значит, и попыткой извратить ее подлинное содержание и лицо. Противоречие же между «бескультурьем», малограмотностью и культурой, образованием — противоречие очевидное, выступающее на авансцене и даже комическое, на поверку оказывается временным и не принципиальным не потому лишь, что несет в себе колоссальный заряд массовой культурной революции, поддерживает неукротимую тягу масс к культуре, жажду знаний, но прежде всего потому, что эта высвобождаемая потенциальная культуротворческая энергия масс по своему существу не только не противоречит «старой» культуре, но той же природы и несет в себе ту же внутреннюю цель — правду. «Осваивать» здесь предстоит не нечто чужое, но исконное свое, отвечающее самым высоким и дальним гуманистическим устремлениям революции; и наоборот, всегдашнюю свою новизну, подлинную, не музейную, но духовную свою жизнь, и свое бессмертие, себя самое обретает «старая» культура в реальной сегодняшней, сиюминутной жизни и борьбе масс — в борьбе за осуществление этих тоже своих для нас устремлений.

Коллизия, исследуемая автором «Сорок первого», если рассматривать ее «только» в этом ее содержании, доставляет, таким образом, материал для уяснения коренных проблем становления, существования и развития отнюдь не только культуры как специальной сферы духовной деятельности и состояния общества и индивида; и вопрос об усвоении культуры «прошлого» естественно переходит, переливается, перерастает здесь в вопрос о творчестве в области культуры, неотрывный от задачи осмысления и оценки способности той или иной из сил, противостоявших в общественно-политической борьбе, к сознательному историческому созиданию, к творчеству жизни в самом объемном значении этого понятия.

Разумеется, время от времени, на определенных этапах развития общества и общественного сознания, противоречие культурности и бескультурья, образованности и невежества, эстетической воспитанности и наивности и т. д. как бы выступает в глазах современников на передний план, выдвигаясь на видное самостоятель-